

Глава IX

Мое знакомство с графом Соллогубом. – Его литературные успехи. – Огарев и К. Булгаков. – Чтение у меня на даче «Медведя». – Граф Мих. Юр. Виельгорский. – Константин Булгаков. – Середы у графа Соллогуба. – А. П. Башуцкий и Булгаков. – Появление Ф. М. Достоевского. – Успех его «Бедных людей». – Увлечение Белинского. – Достоевский на вечере у Соллогуба. – Чтение «Нахлебника» Тургенева у князя Одоевского и «Свои люди – сочтемся» Островского у Соллогуба. – Впечатление, произведенное этими пьесами на великосветскую публику. – Дружеские вечера у А. Н. Струговщикова. – Брюллов и Кукольник на этих вечерах. – Закат Кукольника.

Я познакомился с гр. Соллогубом, когда он еще был дерптским студентом и приезжал на вакансии в Петербург.

Страсть к литературе развита была в нем тогда сильно, но он как будто стыдился обнаруживать ее.

Он говорил, что ему вздумалось набросать небольшой рассказ, что его Краевский взял у него, и спешил прибавить к этому, что он вовсе, впрочем, не намерен быть литератором, а так иногда пишет от нечего делать, от скуки.

Рассказ этот под названием «Сережа» был напечатан в «Литературных прибавлениях к Русскому инвалиду» 1837 г. Он понравился очень многим, но вообще в публике был мало замечен.

В Соллогубе, после выхода из университета, очень резко бросалась в глаза смесь немецкого буршества с русскими барскими замашками и претензиями – странная смесь, вечно ставившая его в неловкое противоречие с самим собою. От этого он казался искусственным, натянутым и как бы постоянно недовольным собою. Все это еще увеличивалось в нем с годами, когда к этому недовольству присоединялись муки неудовлетворенного чиновничьего честолюбия, оскорбленного литературного самолюбия и, наконец, недостаток средств вести ту широкую и беспечную барскую жизнь, к которой он был приготовляем в детстве. Не способный ни к какой самостоятельной мысли, ни к какой серьезной деятельности, ни к какому выдержанному труду, смотря даже на труд несколько презрительно, свысока и по-барски, он с барскою небрежностью обращался с своим талантом, не заботился о его развитии и, несмотря на свои первые блестящие успехи в литературе, остался навсегда литературным дилетантом, хотя такая роль мало удовлетворяла его самолюбие. У него не хватало воли остановиться на чем-нибудь, избрать себе какое –нибудь определенное поприще, какую-нибудь специальность... Ему хотелось в одно и то же время достичь какой-нибудь важной административной должности, иметь значение при дворе, играть роль в большом свете и приобрести литературный авторитет, не употребляя для этого, впрочем, никаких усилий. Беспечно гоняясь за всем, он ни на одном из этих поприщев не приобрел никакого значения и остался немножко литератором, немножко придворным, немножко светским человеком и немножко чиновником. С горьким и ядовитым сознанием своей неудавшейся жизни, с тоскою и пустотою в душе, вследствие отсутствия всяких убеждений, не удовлетворяемый рутинными понятиями, в которых погрязал лениво, он неловко разыгрывал в свете роль литератора, а в литературе – светского человека. Но недовольство самим собою, искреннее сознание в своих недостатках и слабостях перед людьми, которых он уважал – все это показывало, что Соллогуб по натуре своей не принадлежал к тем дюжинным господам, которые с апатическим равнодушием легко и дешево примиряются с самими собою...

Успех его «Истории двух калаш» был огромный и в литературе и в публике. Повесть эта читалась всеми нарасхват. Критика с увлечением приветствовала ее и начала смотреть на Соллогуба как на одну из надежд русской литературы. Белинский был от нее в восторге. Он с участием и любопытством расспрашивал меня об ее авторе.

«История двух калаш» наделала столько шума, что она читалась даже теми, которые никогда ничего не читали... по крайней мере по-русски; в большом свете с неделю только и говорили об этих «Калашах»... Соллогуб был в ходу. Эти «Калаша» раз только доставили ему

небольшую неприятность. При разъезде с бала Д* он, вместе с толпою разъезжающихся дам и кавалеров, остановился на лестнице. В этой толпе был между прочим А* – господин очень бойкий и находчивый. Соллогуб, подсмеиваясь над ним, закричал с иронической торжественностью: «Карету, А – на!» А* посмотрел на него с улыбкою и закричал в свою очередь: «Калоши Соллогуба!..» Все невольно улыбнулись. Самолюбие Соллогуба (действительно не имевшего на этот раз кареты) было уязвлено, и он не мог скрыть своего смущения.

Поощренный успехом, Соллогуб с жаром принялся за другую повесть, и на следующий год в «Отечественных записках» появился его «Большой свет». Этот «Большой свет» в публике имел почти равный успех с «Историю двух калош», но в литературных кружках, которым он тоже очень понравился, его приняли уже гораздо хладнокровнее, чем «Историю двух калош»...

Белинский отдавал справедливость ловкости и мастерству изложения этой повести, упрекал ее за слабость мысли, за неудавшуюся концепцию, за характер Сафьева (в Сафьеве Соллогуб хотел изобразить Соболевского), на которого автор смотрел с некоторым благоговением, как на идеал. Один только Краевский, заранее всем прокричавший об этой повести как о небывалом еще явлении в нашей литературе, упорно отстаивал ее от всяких замечаний, повторяя одни и те же фразы... «Нет, что ни толкуйте, это превосходная вещь, превосходная, большой свет схвачен в ней мастерски, и какой язык-то! Нет, Соллогуб молодец, молодец. Я не ожидал от него этого».

Через несколько дней после этого Краевский, впрочем, уже отзывался о «Большом свете» словами Белинского.

«Концепции нет, – повторял он, – и что это за лицо Сафьев? Можно ли выставлять его как идеал?» и прочее.

После «Истории двух калош», «Большого света» и в особенности «Аптекарьши», которая произвела фурор, Соллогуб сделался самым любимым и модным беллетристом и даже нашел некоторых (весьма, впрочем, слабых) подражателей. Все последующие произведения его, если и не имели такого успеха, как его три первые повести, то все-таки читались с жадностью.

Летом 1842 г. я жил на даче в Павловске вместе с Краевским, который лишился в этот год жены. Флигель дачи занимал Языков и Боткин, приехавший в Петербург. Лето это мы провели очень весело. У Языкова во флигеле гостил по нескольку дней Огарев, отправлявшийся за границу, Константин Булгаков, известный своими шалостями, артистическими талантами и остроумными выходками с великим князем Михаилом Павловичем, и многие другие наши приятели. Гости не переводились в языковском флигеле.

С Огаревым мы познакомились через Искандера. Огарев очень привязался к Языкову.

Огарев принадлежал к тем мягким, кротким, созерцательным и вместе чувственным натурам, которых обыкновенно называют поэтическими. Такие натуры совершенно не способны к жизни практической, деятельной. Без постороннего влияния, оставленные самим себе, некоторые из них удовлетворяются отвлеченным миром фантазий, в который погружаются с каким-то апатическим наслаждением, и кинут в этих фантазиях, другие просто погрязают безвыходно в чувственных наслаждениях... Огарев с ранних лет дружески сошелся с Искандером, который не допустил его ни до того, ни до другого. Огарев развил в себе под его энергическим влиянием те убеждения, которые поддерживали его во всех переворотах его бурной жизни и осмыслили его существование.

Что-то необыкновенно симпатическое и задушевное было во всей его фигуре, в его медленных и тихих движениях, в его постоянно задумчивых глазах, в его тихом, едва слышном голосе, походившем более на шопот больного. Недаром Искандер, Грановский и многие из наших приятелей любили его с какою-то нежностью.. Грусть никогда не покидала Огарева, даже в минуты самого шумного разгула. Старый, отживающий мир со всеми его нелепыми условиями и формами тяготил его, он не мог подчиниться ни одному из этих условий и с каким-то тайным

наслаждением рвал те связи, которые прикрепляли его еще к этому миру. Он отпустил часть своих крестьян на волю, остальное еще довольно значительное состояние он проживал не только с сознательной беспечностью, но даже с каким-то чувством самодовольствия.

– Чтобы сделаться вполне человеком, – говорил он нам своим симпатическим шопотом, попивая, впрочем, шампанское, – я чувствую, что мне необходимо сделаться пролетарием.

И это была не фраза. Он говорил искренно, и на его грустных глазах дрожали слезы...

Огарев беспрестанно путался, спотыкался в жизни, предавался, как блудный сын, всем крайностям разгула, но, как блудный сын, он и в падении не утратил чистоты души своей и не изменил своим благородным убеждениям. Ни капли фразерства и лицемерства не было ни в его жизни, ни в его стихах.

Искренность и задушевность – их главные достоинства. Их можно, пожалуй, упрекнуть в монотонности, вялости, иногда в бессильной грусти, похожей на старческое хныканье, но уж никак не в искусственности и не во фразе...

Огарев и Языков не могли не сблизиться между собою; в них было что-то родственное по мягкости и кротости характеров и по отсутствию в обоих всякого практического такта. Огарев и Языков просиживали иногда напролет целые ночи, тихо беседуя и сладко фантазируя за бутылкою вина... Один раз после бессонной ночи Огареву (в этот раз с ним не было Языкова) пришла фантазия отправиться в Невский монастырь на могилу своего отца... И ему непременно захотелось взять с собою Языкова. Огарев отправился к нему в половине пятого часа утра и разбудил его... Языкова нимало не удивило, а, напротив, показалось очень натуральным предложение Огарева, и он тотчас же оделся и с великим удовольствием отправился с ним на кладбище.

Приезд Огарева, который провел в Павловске трое суток, оживил Языкова и заставил всех нас провести три бессонных ночи. Однажды к нам присоединился Соллогуб, живший в Царском селе. После окончания музыки в вокзале мы возвратились в языковский флигель, пили чай, заваривали жженку и просидели незаметно до 2 часов. В 2 часа мы отправились провожать Соллогуба. Соллогуб зазвал нас к себе. Мы влезли к нему в кабинет через окно, посидели у него с полчаса и отправились встречать утро в царскосельский сад и умываться к Молочнице... Домой мы вернулись часам к 8 и принялись завтракать. Такая безалаберная жизнь очень нравилась и Языкову и Огареву, но внутренний комфорт Огарева нарушался, если в наши ночные беседы и прогулки вмешивалось постороннее лицо... «Соллогуб, может быть, очень хороший человек, – говорил Огарев, – но бог с ним, он не наш, мне с такими господами неловко, я при них и говорить не умею»...

И действительно, при Соллогубе было неловко в прямом, бесцеремонном, дружеском кружке. Он тотчас нарушал его гармонию, внося, против своей воли, искусственность, ложь, ломанье, фатство, от которых он никак не мог отделаться и которые становились его второю натурою. Он желал ближе сойтись с многими из нашего кружка, но при отсутствии всякой простоты и искренности и при его смешных барских выходках и замашках – это было невозможно. Препятствий к такому сближению было с его, а не с нашей стороны, а он добродушно жаловался на нас и упрекал нас в том, что мы его дичимся и удаляемся от него.

Отсутствие простоты доходило в этом человеке до комического. Ему хотелось прочесть нам свою новую повесть, и, вместо того чтобы просто передать нам свое желание, он, встретив меня однажды в Павловском вокзале, завел со мною такую речь небрежным, вялым тоном, нехотя и отвлекаясь беспрестанно посторонними предметами:

– Не правда ли, что сочинять повести это ужасно глупое занятие? а? Как вы думаете об этом?

{далее текст обрывается...}